

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 9

**КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА**



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 9

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 9 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	26
Глава 5	33
Глава 6	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 9

Глава 1



Задачу Зорин ставит сам, и я сижу в углу землянки на ящике и слежу за собственным ртом.

Это, оказывается, отдельная работа — молчать, когда у тебя есть что сказать. Особенно когда сказать хочется не потому, что человек ошибается, а потому что ты сделал бы иначе.

К марту ремонтная бригада вернула седьмой, и после контрольных полётов он снова в строю. Барсуков тоже прибыл со своей восстановленной машиной: теперь в полковые группы назначают и его экипаж. На предстоящую ночь штаб собирал шесть бортов из нескольких звеньев.

Землянка набита: два экипажа пары, экипаж отдельного борта, штурманы, Литвинов у карты, Тимка с расписанием частот. Печка топится плохо, дым идёт в помещение, и через десять минут все начинают говорить чуть громче, чем надо.

— Повторяю границы, — говорит Зорин. — Первый участок — вот эта рамка. Не полоса, не клин, а рамка: если я скажу «клин», вы полезете к дальнему концу, а там пятьдесят километров ширины и мы там ничего не осмотрим. Работаем ближний край.

— А если по дороге увидим что-то за рамкой? — спрашивает штурман ведомого, молодой, с обмороженными скулами.

Он спрашивает, глядя на меня.

Я смотрю в потолок, хотя край карты виден прямо передо мной. Зорин ждёт; я не помогаю ему ни словом, и штурман наконец замечает, кому оставлено место у карты.

Пауза длится секунды две, потом парень доходит и переводит взгляд на Зорина, и Зорин отвечает:

— Увидите — запишете и доложите. В сторону не сворачиваем. У нас световое окно в двадцать две минуты, и я не хочу потратить его на интересное.

Вот с этой секунды всё и меняется. Я это вижу по комнате. Не по словам — по тому, как поворачиваются головы. До сегодняшнего дня они слушали Зорина и косились на меня. Теперь начинают слушать Зорина и косятся на Зорина.

— Отдельный борт, — говорит он и поворачивается к Сухих.

Лейтенант Сухих — плотный, невысокий, из тех, кто всегда выглядит выпавшимся. Штурман у него Гриневич, тощий, с длинными руками, лучший в полку по расчётам после Литвинова и знающий об этом.

— Твой сектор западный, — говорит Зорин. — Поворотная точка — здесь, время четыре двенадцать. В четыре пятнадцать — короткий доклад. Плановый доклад: «прошёл, иду домой». Без длинного описания. Об отказе или иной беде передаёшь сразу, этого срока не ждёшь.

Сухих задерживает карандаш над поворотной точкой.

— А если будет что доложить?

— Доложишь на земле. В четыре пятнадцать мне нужно знать не что ты видел, а что ты живой.

— Понял.

— Обязательный поворот домой — не позднее четырёх двадцати по остатку, независимо ни от чего. Если в четыре двадцать ты ещё там и тебе очень интересно — ты уже нарушил.

Гриневич подаётся через плечо Сухих и показывает длинным пальцем на последнюю отметку маршрута.

— Товарищ лейтенант. А если доклад не пройдёт? Там дальность, да ещё ночь.

— Тогда мы будем считать, что ты не доложил, — говорит Зорин. — Со всеми последствиями. Поэтому передаёшь три раза с интервалом в минуту и не ждёшь квитанции.

Я перевожу взгляд на Литвинова. Литвинов чуть заметно кивает: правильно.

Я успеваю за всё совещание сказать ровно две фразы, и обе — не про маршрут.

Первая: спрашиваю Тимку, кто будет сидеть на приёме на земле и есть ли подмена. Оказывается, есть, Савченко.

Вторая: спрашиваю у оружейников, снят ли лишний вес с отдельного борта, потому что ему идти дальше всех.

Про маршрут я не говорю ничего, и это стоит мне некоторого количества нервов.

Они уходят в час тридцать.

Ночь тихая, морозная. Над озером пока облачно, но к осмотру ближних участков Белова обещала разрыв: пару выводили к площадкам под низкую луну. Западному борту предстояло прежде всего проверить движение по направлению; снимок требовался только при пригодном освещении. Моторы уходят один за другим, и по звуку слышно, что машины идут тяжело: на разведку дали расчётную заправку каждому борту, с учётом его ограничений.

Я иду в блиндаж командного пункта и сажусь ждать.

В четыре семнадцать Тимка сообщает, что отдельный борт пропустил все три передачи. Проверяем дежурный приём, запрашиваем соседние узлы и его запасные площадки. Пока нет ответа, остаётся ещё расчётное время возвращения; на карте я держу западный маршрут отдельно от работы пары.

Ждать я не умею — об этом мне ещё в октябре сказала Лида, и она была права, и с тех пор ничего не изменилось, кроме того, что теперь я об этом знаю.

Пара возвращается в пять двадцать и пять тридцать пять.

Зорин вваливается в блиндаж прямо в меховых штанах, стаскивая с головы шлемофон, и лицо у него такое, какое бывает у человека, которому есть что рассказать.

— Первый участок пустой, — говорит он. — Ровное поле, старые следы, снегом замело, работали там в январе, не позже. Второй — есть.

— Что есть?

— Полоса укатана. Свежая. — Он тычет пальцем в карту, которую Литвинов уже разворачивает. — Вот тут. Мы прошли на семистах, я видел два снежных обвалования, между ними тёмное. И дым. Не из трубы — низкий, стелется, как от печек в землянках. И следы техники, поперёк, к лесу.

— Снимки?

— Восемь кадров. Сомов уже забрал плёнку.

Литвинов ставит отметку.

— Это в пределах твоей рамки?

— В пределах. Даже ближе, чем я ожидал.

Я смотрю на карту, и у меня внутри поднимается то самое, ради чего люди работают: когда месяц сидения над чужими бумажками вдруг превращается в конкретную укатанную полосу с дымом, до которой два часа лёту.

— Хорошо, — говорю я. — Очень хорошо, Виктор.

— Товарищ старший лейтенант, — напоминает Тимка от аппарата. — От Сухих по-прежнему ничего.

В блиндаже становится тихо.

— В четыре пятнадцать?

— Ни в четыре пятнадцать, ни в четыре шестнадцать, ни в четыре семнадцать. Я слушал сплошняком. Ничего.

— Приём был?

— Приём был чистый, — говорит Тимка. — Я в это время принял два посторонних и погоду от «Ольхи». Наш приёмник работал. Но его сигнал мог не дойти, за дальнюю машину я не ручаюсь.

Зорин молча садится на ящик и начинает расстёгивать куртку — не потому, что жарко, а потому что рукам надо что-то делать.

— Может, передатчик, — говорит он.

— Может, — соглашаюсь я.

Расчётная посадка у Сухих — пять сорок пять.

В пять сорок пять его нет. В пять пятьдесят его нет. В шесть ноль пять Литвинов, не поднимая головы, говорит:

— Запас на задержку кончился.

Он это говорит буднично, потому что так надо. У нас заведено: кто-то один произносит вслух, что время вышло, и после этого все перестают надеяться и начинают работать. Обычно это делаю я. Сегодня это делает Литвинов, и я ему благодарен.

— Тимка. Всем постам: слушать в его секторе. Отдельно спроси дорожников и ледовые посты: не слышали ли самолёта, не видели ли вспышки, с указанием времени. Время пусть называют своё и говорят, откуда его взяли.

— Есть.

Зорин подходит к карте и раскладывает свою.

— Вот, — говорит он. — Я нарисовал два цвета. Красным — где я его действительно видел или слышал. Синим — где предполагаю.

Я смотрю. Красного там до обидного мало: взлёт, первые сорок километров, когда они ещё шли вместе, и один обмен по радио в два ноль восемь. Дальше — синее.

— Это правильно нарисовано, — говорю я.

— Толку-то.

— Толк есть. Если бы ты мне сейчас нарисовал всё красным, я бы полез искать по синему и решил бы, что ищу по красному.

Один из выносных постов ледовой службы стоит в двадцати восьми километрах от берега. Печку туда доставили вместе с оборудованием для нашего берегового пункта; теперь и там есть тепло и двое связистов. Сам сруб, где Анна Петровна налаживала котлы, остался на берегу.

Только человек, которого мы ищем, сам туда не придёт.

Я иду к себе за курткой в шесть двадцать.

Это происходит само. Я даже не принимаю решения — я просто встаю, выхожу, иду по протоптанной в снегу тропе к своей землянке, беру с гвоздя меховую куртку и уже наполовину надеваю, когда в дверях появляется Зорин.

— Вы куда?

— В воздух.

— Зачем?

Хороший вопрос. Мне на него нечего ответить в терминах, которые он примет, и я отвечаю в терминах, которые есть.

— Затем, что у меня в озере четыре человека, и я не собираюсь сидеть на телефоне.

Зорин заходит внутрь и прикрывает дверь.

— Вы куда пойдёте? — говорит он.

— На дальний край. Туда, куда он дошёл.

— Он туда не дошёл.

— Откуда ты знаешь?

И тут он делает то, чего я от него ещё прошлой осенью не дождался бы: он не начинает спорить голосом. Он достаёт из-за пазухи сложенную четверо карту, расстилает её прямо на моих нарах и придавливает углы моей же кружкой и планшетом.

— Смотрите, — говорит он. — Ветер.

— Северо-восточный.

— Северо-восточный, пятнадцать на высоте, — говорит Зорин. — На туда — попутный в скулу, на обратно — встречный. Теперь считайте. Поворотная у него в четыре двенадцать. Если он повернул и пошёл домой, у него путевая падает до двухсот шестидесяти, не больше.

— Допустим.

— А теперь вот это. — Он достаёт вторую бумажку, тимкину, с закорючками. — «Гряда», ледовый пост номер три. В четыре тридцать один слышали самолёт, низко, идёт на восток. Записано сразу, время по своим часам, часы сверены с трассой вчера вечером.

Я смотрю на карту.

— Четыре тридцать одна, — говорит Зорин. — От поворотной точки до поста номер три при его путевой — это как раз девятнадцать минут. Сходится.

— А если это был не он?

— Мог быть не он, — соглашается Зорин. — Но если он ушёл дальше на запад, как вы хотите искать, то у нас нет вообще ничего: оттуда наши посты ничего не слышат. А если он шёл домой, у нас есть эта минута, и она ложится точно.

Я стою с курткой в одной руке и смотрю на его карту.

Я знаю, что он прав. Я это понял уже на слове «ветер». Но у меня в груди сидит очень простая вещь, которую мне надо сейчас пережить и не выплеснуть на человека, который не виноват.

— Виктор, — говорю я. — Скажи мне честно. Ты меня сейчас останавливаешь потому, что я не прав, или потому, что не хочешь отдавать поиск?

Он не отводит глаз.

— И то, и то, — говорит он.

Вот за это я его и держу.

— Хорошо, — говорю я. — Дальше.

— Дальше вот что. Если пойдёте вы, вам надо заново взять весь его маршрут: что он должен был видеть, где мог отвернуть, где у него точки. Это час работы с Аркадием Михайловичем. У меня это уже в голове, я эту рамку четыре дня чертил. Пока вы будете входить в мой вылет, мы потеряем свет.

— Сколько у нас света?

— Рассвет в восемь, — говорит Зорин. — Нормально видно с половины девятого. Темнеет после шести. Девять с половиной часов. Из них я в воздухе могу быть примерно четыре с половиной за один раз, потом заправка.

— То есть два вылета.

— Два. Один — до полудня. Второй — вторая половина.

Я кладу куртку на стул.

Кладу аккуратно, не бросаю, и сам этому удивляюсь: у меня внутри в этот момент очень хочется её именно бросить.

— Поиск ведёшь ты, — говорю я. — Единолично. Я тебе в воздухе не команду и с земли маршрут не правлю. Всё, что мне видно с земли, я тебе даю как сведения, а не как указания.

— Понял.

— И два условия. Первое: каждые двадцать минут — доклад, даже если пусто. Второе: время посадки назначаю я, и оно не обсуждается.

— Согласен.

— Тогда иди ешь. У тебя двадцать минут.

Он уходит. Я остаюсь один в землянке, смотрю на куртку на стуле и думаю о довольно неприятной вещи.

Мне сейчас было легче поднять машину и полететь.

Не потому, что я такой храбрый. Потому что в воздухе всё просто: у тебя есть курс, высота, время, и всё, что произойдёт, произойдёт при тебе. А тут я останусь на земле, и всё, что случится с четырьмя людьми на льду, случится без меня, и я об этом узнаю из чужих слов по телефону.

Я эту разницу знаю по прошлой жизни очень хорошо. Это разница между «делать» и «обеспечивать». И вторая работа тяжелее, и за неё никогда никого не хвалят.

Полк ко мне начинает просыпаться в семь.

К семи в блиндаже уже теплее, у Тимки на столе разложены три пачки бумажек, Литвинов чертит, а я говорю по телефону с майором Кострицыным.

Начальник штаба — человек неглупый и, по-моему, никогда не спящий. Разговор у нас идёт ровно и неприятно.

— Иванов. Мне доложили: вы запрашиваете самолёт и горючее на поиск.

— Запрашиваю. Одну машину, два вылета.

— Одну машину на весь день.

— Одну машину на весь день.

— У вас сегодня ночью задача, — говорит Кострицын. — По той самой полосе, которую ваш Зорин утром сфотографировал. Пока там дым и следы. Через два дня они могут уйти.

— Знаю.

— И вы понимаете, что снимая Зорина с ночи, вы снимаете лучшего ведущего.

— Понимаю.

— Так вот объясните мне, — говорит Кострицын, — почему я должен согласиться отдать исправную машину, горючее и ведущего экипажа на точку, которой у вас нет.

Хороший вопрос, и задан он правильно: он не говорит «на людей, которых, наверное, уже нет». Он говорит «на точку, которой нет», и это честная формулировка проблемы.

— Товарищ майор, — говорю я. — Точка появится через два-три часа. У нас есть время, ветер и одно наблюдение с поста номер три. Полоса, которую надо осмотреть, — километров сорок на двенадцать. Это один день работы одной машины.

— А если её там нет?

— Тогда мы потеряли день и горючее.

— А если есть?

— Тогда у нас четыре человека и, может быть, кассета Гриневича.

Пауза.

— Про кассету не надо, — говорит Кострицын. — Не торгуйтесь кассетой, вы не за ней идёте.

— Не за ней, — соглашаюсь я. — Виноват.

— Вот это лучше. — Он слышимо перекладывает бумаги. — Иванов, я вам дам машину. Но я вам дам её так, как я это понимаю, а вы напишете, как вы это понимаете, и мы оба подпишем, чтобы завтра не вспоминать по-разному.

— Согласен.

— Поисковое окно — до темноты сегодняшнего дня. Горючее — по фактическому расходу двух вылетов. Ночная задача выполняется сокращённым составом. Изменение дежурного состава подписываете вы как исполняющий обязанности.

— Подпишу.

— И вот ещё что. — Голос у него меняется. — Вы там аккуратнее с формулировками в журнале. «Поиск экипажа» — это одно. «Поиск самолёта» — другое. Пишите первое, потому что за первое с вас спросят мягче.

— Я напишу то, что есть.

— Я вам как раз и говорю: пишите то, что есть, а не то, что красивее.

Мы кладем трубки, и я минуту сижу и думаю, что начальник штаба, которого весь полк считает сухарём, только что подсказал мне, как не подставиться.

Зорин приходит через десять минут, уже одетый, и приносит вторую половину задачи.

— Товарищ старший лейтенант. Мне мало самолёта.

— Говори.

— Допустим, я их найду. — Он ставит палец на карту. — Дальше что? Я над ними покружу, помашу крылом и уйду домой. У меня в машине нет ни верёвки, ни лошади, ни людей.

— Сесть рядом?

— На лёд? Не сяду, — говорит он сразу. — И никому не дам. В марте на озере лёд — как старый ботинок: сверху вроде целый, а внутри уже всё.

— Тогда что тебе нужно?

— Сани, — говорит Зорин. — Лёгкие, не грузовые. Лошади. Люди с верёвками, с пешнями и с досками. И чтобы они вышли не когда я найду, а сейчас.

Вот это уже разговор.

— Обоснуй «сейчас».

— Обосную. — Он берёт линейку. — От берега до вероятной полосы — двадцать пять — тридцать. Санями по льду — шесть-семь километров в час, и это если дорога. Значит, четыре часа. Если они выйдут после того, как я найду, — а найду я, дай бог, к полудню, — они придут к четырём. Света после четырёх останется мало. Любой обход вытолкнет эвакуацию в сумерки, на ощупь, по слабому льду.

— А если выйдут сейчас?

— Если выйдут сейчас, к полудню они будут у поста номер три или четыре. Это не в конце пути, это в середине. И тогда от находки до них — не тридцать километров, а десять. Час с небольшим.

— То есть ты хочешь, чтобы они ждали на льду.

— Я хочу, чтобы они ждали не на берегу, — говорит Зорин. — Разница в три часа.

Я смотрю на него и понимаю, что этот разговор я мог бы не вести вовсе: он всё продумал до того, как пришёл.

— Принято, — говорю я. — Кто поведёт сани?

— Не знаю. Это не моё.

— Твоё, — говорю я. — Но не сегодня. Сегодня я освобожу тебе транспорт и назначу людей, а ты будешь их вести с воздуха. Иди.

Дальше полтора часа я занимаюсь тем, что по всем документам называется «организацией взаимодействия», а на деле состоит из семи телефонных разговоров, двух скандалов и одной удачи.

Удача — старшина Пантелеев.

Он из дорожно-эксплуатационной службы, зимует на трассе с ноября, вытаскивал из полыньи, по его собственному счёту, «одиннадцать штук, из них четыре с лошадьми». Мне его отдают, потому что у него сегодня пересменок, и потому что начальник ледового участка, услышав про самолёт, говорит одну фразу: «Своих вытаскиваем».

Скандалы — это транспорт. Полуторку под медицинское имущество мне дают, потом забирают, потом дают снова при условии, что она вернётся после доставки людей. Сани и лошадей выделяет ледовая служба.

К восьми тридцати у меня на бумаге стоит следующее.

Пантелеев с шестью людьми, двумя лёгкими санями и парой лошадей выходит с берега в восемь тридцать и к двенадцати становится у поста номер три. Полуторка с медицинским имуществом и брезентом идёт по трассе и ждёт на твёрдом участке.

Лида в береговом медицинском пункте, и на неё же замкнут приём.

И с санями я отправляю Федю Костенко.

— Зачем? — спрашивает Литвинов.

— Затем, что мне нужен человек, который умеет смотреть и докладывать, — говорю я. — Пантелеев отличный мужик, но он мне будет говорить «нормально идём». А Федя скажет, сколько прошли, что под ногами и что с лошадьми.

Глава 2



— Он же стрелок.

— Он наблюдатель. Стрелок — это то, чем он занимается по ночам.

Федя приходит через десять минут, уже в валенках и с вещмешком, и я вдруг вспоминаю то, о чём мы с ним никогда не говорим.

— Костенко.

— Я.

— Ты плавать не умеешь.

Он смотрит на меня совершенно спокойно.

— Там плавать негде, товарищ старший лейтенант, — говорит он. — Там лёд.

— Костенко.

— Умею не лезть, — говорит он. — Этому меня Пантелеев за полчаса научит, а больше там ничего не надо.

— Верёвку держи всегда.

— Буду.

Он уходит, и я стою в дверях и смотрю ему в спину, и у меня очень нехорошо на душе, и я это отодвигаю, потому что сейчас не время.

Зорин уходит в воздух в восемь ноль пять.

А я сажусь к телефону и начинаю заниматься тем, чем на самом деле занимается командир: разбираться, кто из свидетелей что на самом деле видел.

Их трое, и они не сходятся.

Первый — шофёр с трассы, фамилия Дудко. Его записали на посту номер два. Он говорит: слышал самолёт, низко, около полпятого, шёл на восток, потом звук оборвался.

Второй — постовой на посту номер пять, краснофлотец Заикин. Он говорит: видел вспышку на севере, невысокую, короткую, «как будто фару зажгли и погасили». Время называет — четыре двадцать.

Третий — связист с линии, Мамедов. Он говорит: слышал короткий шум, «как садится наш на трассу», и не придал значения, потому что на трассу садятся часто. Время — около пяти.

Тимка раскладывает все три записки на столе.

— Три свидетеля, три разных минуты, — говорит он. — И вспышка на севере, а звук на востоке.

— Зорин! — говорю я в микрофон. — У тебя есть минута?

— Есть, иду вдоль южной кромки, пока пусто.

— Слушай три наблюдения.

Я читаю ему всё как есть, включая время.

Он молчит секунд двадцать.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он. — А часы у них откуда?

— В смысле?

— Ну, часы. Откуда у шофёра время «полпятого»? У него в кабине часы есть?

Я смотрю на Тимку. Тимка пожимает плечами.

— Тимка, — говорю я. — Запроси пост номер два. Точный вопрос: по каким часам шофёр назвал время и что он в это время делал.

Тимка крутит ручку.

Ответ приходит через семь минут, и он прекрасен.

— Пост два докладывает: Дудко часов не имеет. Время назвал приблизительно. Сказал: «было это, когда я разъезжался со встречной колонной у четвёртого километра».

— Ага, — говорит Литвинов и сразу тянется к журналу движения.

Журнал движения по трассе у дорожников ведётся честно: колонны, время прохода контрольных точек. Это не свидетельские показания, это документ.

— Колонна встречная проходила четвёртый километр в четыре сорок две, — читает Литвинов. — Значит, Дудко слышал в четыре сорок две плюс-минус пять.

— Не в полпятого.

— Не в полпятого. На двенадцать минут позже.

— Теперь Заикин, — говорю я. — Тимка, тот же вопрос на пост пять.

С Заикиным выходит ещё интереснее. Он время назвал по своим часам, а часы у него хорошие, трофейные, но он стоял на посту с полуночи и сменился в четыре тридцать, и вспышку он видел, по его словам, «незадолго до смены».

— А смена по журналу? — говорю я.

— Смена караула в четыре тридцать, — читает Литвинов. — И, судя по записи, в тот день опоздала: сменились в четыре сорок.

— То есть «незадолго до смены» — это не четыре двадцать.

— Это скорее четыре тридцать пять.

Мы сидим над бумажками, и картинка начинает поворачиваться.

— Зорин, — говорю я в микрофон. — Уточнение. Дудко слышал около четырёх сорока двух, восточнее. Заикин видел вспышку около четырёх тридцати пяти, севернее. Мамедов — самое неопределённое, около пяти.

— А расстояние между Дудко и Заикиным? — говорит Зорин.

Литвинов уже меряет.

— Двадцать три километра между постами. До самой вспышки расстояния нет.

Я повторяю обе фразы в микрофон. Зорин отвечает после паузы:

— Тогда это не точка посадки. За семь минут он такое расстояние пролетит. Но мы ведь свели место свидетеля с местом вспышки, а это разные места.

— Или вспышка — не самолёт.

— Или вспышка — не самолёт, — соглашается Зорин. — Ракета, костёр, что угодно. Товарищ старший лейтенант, отдельной целью её не беру. Оставьте направление в журнале: проверю, если остальные следы туда приведут.

Тимка поднимает голову.

— Жалко, — говорит он. — Она такая удобная была. Точка, север, время.

— Вот потому и проверяем, — говорит Литвинов. — Она была удобная. Ты её взял первой, и она тебе испортила всю картину: ты из-за неё смотрел на север, а звук шёл с востока.

— А третий? — говорит Тимка. — Мамедов.

Мамедова я к этому времени уже почти списал, и зря.

— Что у него?

— «Слышал короткий шум, как садится наш на трассу, около пяти». — Тимка вертит записку. — Тут вообще всё плохо. Время приблизительное, слово «около», и он сам говорит, что не придал значения.

— Стой, — говорит Литвинов. — Не в этом дело. Ты прочти, что он сказал.

— «Как садится наш на трассу».

— Вот. Он не сказал «слышал самолёт». Он сказал «как садится».

Я поднимаю голову.

— Он слышал посадку?

— Он слышал звук, который у него в голове означает посадку, — говорит Литвинов. — Это, между прочим, человек, который всю зиму работает на трассе и слышал этих посадок штук двадцать. У него на это ухо натренировано лучше, чем у нас с тобой.

— Тимка. Запроси линию: пусть Мамедова найдут и спросят точно. Не «что слышали», а: чем этот звук отличался от пролёта. И где он в это время был.

Ответ идёт долго — Мамедова ищут на линии, потом ведут к аппарату, — и приходит только через сорок минут, когда Зорин уже прошёл половину ровного поля.

— Мамедов передаёт, — читает Тимка. — «Был на семнадцатом столбе. Звук шёл с севера, не сверху, а низко, и оборвался не так, как обрывается пролёт. Пролёт уходит, а этот кончился сразу. Подумал: сел на трассу, как в январе садились».

— Семнадцатый столб, — говорит Литвинов и сразу тянется к линейке. — Вот он. И север от него — это... — Карандаш идёт вверх. — Это ровно наша полоса.

— А время?

— Время у него плохое, — говорит Литвинов. — Но нам его время и не нужно. Нам нужно направление и вот это «оборвался сразу».

Он откладывает карандаш.

— Смотри, что получилось. Дудко дал время, потому что у него была колонна. Мамедов дал направление и характер звука, потому что у него ухо. А Заикин дал красивую вспышку, из-за которой мы чуть не ушли на север. И, заметь, Заикин — единственный, кто был при должности и смотрел специально.

— Записать бы это куда-нибудь, — говорю я.

— Запишем, — говорит Литвинов. — В твою тетрадь. Только сегодня вечером, а не сейчас.

Он берёт карандаш.

— Что остаётся? Остаётся полоса вот здесь. От поста три до поста пять, севернее трассы, шириной километров двенадцать. Два исхода. Или он дотянул до ровного поля — тогда он где-то тут, и его видно. Или он сел за грядой торосов — а гряда вот, тянется на четырнадцать километров, — и тогда его не видно ниоткуда, кроме как с определённого направления.

Я передаю Зорину границы полосы и оба варианта посадки.

— Зорин, принял?

— Слышал, — говорит он. — Иду работать полосу. Сначала ровное, потом гряду. Гряду буду смотреть с двух курсов.

— Почему с двух?

— Потому что торос — это стена, — говорит Зорин. — С одной стороны за ней тень, с другой — свет.

Дальше наступает то, что в отчёте будет называться «проведение поиска», а на деле выглядит как три часа сидения в дыму.

Я в эти три часа делаю следующее.

Пишу в журнал то, что велел Кострицын, и переписываю дважды, потому что с первого раза выходит длинно и с оправданиями.

Ем хлеб с горячей водой, потому что завтрак я пропустил, а обед будет непонятно когда.

Ругаюсь с интендантом из-за брезента, который он не хочет отдавать без накладной, и в итоге беру брезент под свою подпись на клочке бумаги.

Отправляю Савченко подменить Тимку на полчаса, потому что Тимка сидит на приёме с часу ночи и уже начал переспрашивать простые группы.

И ещё — хожу.

Из блиндажа к стоянке, от стоянки обратно. Двести шагов туда, двести обратно. Я это заметил за собой ещё в прошлой жизни: когда не можешь ничего делать руками, ноги начинают работать за всех.

В девять сорок с поста номер два звонит Федя.

Слышно его плохо, линия тянется по столбам через всё озеро и трещит, как рвущаяся бумага, и он кричит в трубку по-военному раздельно.

— Прошли шесть километров! Время — девять тридцать! Идём медленнее расчёта, потому что снег глубокий, лошади проваливаются по бабки!

— Понял. Что подо льдом?

— Пантелеев бьёт пешнёй через каждые сто шагов! На ровном — девять ударов! У старой дороги — шесть!

— Люди?

— Люди целы! Двое на санях, четверо пешком, меняемся!

— Костенко. Ты где идёшь?

Пауза. Трубка трещит.

— Третьим! — кричит Федя.

— Почему третьим?

— Потому что Пантелеев сказал: первым он, вторым тот, у кого доска, а третьим тот, кого меньше всего жалко потерять по делу!

Я невольно смеюсь, и Литвинов от карты поднимает голову.

— Он так и сказал?

— Он сказал грубее! — кричит Федя. — Я перевожу!

— Хорошо переводишь. Связь через пост три.

— Есть!

Я кладу трубку и минуту сижу, держа на ней руку.

Вот это, между прочим, тоже работа: знать, что твой человек идёт третьим в цепочке по мартовскому льду, и не звонить ему каждые двадцать минут, чтобы спросить, как он.

К одиннадцати у меня на столе лежат восемь зоринских докладов, и все они начинаются со слова «пусто».

Это тяжелее, чем кажется. Каждый доклад — это двадцать минут чужой работы, превращённые в одно слово. И с каждым словом в блиндаже становится тише.

В одиннадцать десять он докладывает, что закончил ровное поле.

— Пусто, — говорит он. — Товарищ старший лейтенант, я по ровному прошёл всё, до последнего квадрата. Его там нет.

— Уверен?

— По ровному — уверен. По гряде — нет, я её прошёл один раз с востока, ничего не увидел. Иду обратно с запада.

— Остаток?

— На сорок минут работы и на дорогу.

— Работай тридцать пять.

Он уходит на запад и разворачивается.

А я сижу и смотрю на часы, и у меня внутри уже начинает укладываться та мысль, которую я не хочу пускать, и которая всё равно укладывается: если через тридцать пять минут будет «пусто», то дальше у нас на сегодня остаётся один вылет, и полоса, и темнота.

В одиннадцать двадцать одну Тимка вскидывается так, что роняет карандаш.

— Есть! — говорит он. — Есть, идёт срочное!

— Читай.

— «Наблюдаю самолёт на льду. Квадрат... привязка к гряде... — Тимка пишет, перо рвёт бумагу. — Крыло на белом, левое. За торосом, с восточного курса не видно. Люди есть. Двое машут тканью».

В блиндаже кто-то вслух выдыхает.

— Тимка, — говорю я, и голос у меня, кажется, нормальный. — Запроси: сколько людей, что с машиной, состояние льда.

Ответ приходит кусками, потому что Зорин передаёт на ходу, между заходами.

«Вижу троих на льду. Четвёртый, по-видимому, в машине, наружу не выводят. Фюзеляж целый, на брюхе, винты погнуты. Лёд: вижу трещины, две, идут от гряды на северо-восток. Одна свежая, чёрная. Садиться нельзя».

— Не садиться, — говорю я. — Передай: не садиться, повторяю, не садиться.

— Он и не собирается, — говорит Тимка.

— Всё равно передай. Пусть услышит от меня, чтобы потом не думать.

Тимка передаёт.

Ответ: «Не сажусь. Даю привязку и веду сани».

— Литвинов. Где Пантелеев?

Литвинов уже считает.

— По расчёту он должен был стать у поста три в двенадцать. Если он идёт по графику, сейчас он в шести-семи километрах не доходя.

— Связь с постом три?

— По телефону, через дорожников.

— Тимка, соединяй.

Дальше начинается самое неудобное для меня время за весь день.

Потому что теперь у нас есть три звена, и ни одно из них не разговаривает с другим напрямую.

Зорин видит людей на льду, но не может говорить с санями.

Пантелеев идёт по льду, но не видит ничего дальше двухсот метров и слышит только собственных лошадей.

А между ними — я, с телефоном, картой и двумя минутами задержки на каждую передачу.

— Зорин. Дай направление от поста три: азимут и расстояние.

— От поста три — сорок восемь градусов, девять километров двести.

— Записал. Тимка, на пост три: Пантелееву — сорок восемь, девять двести, гряды торо-
сов, самолёт за грядой с северной стороны.

Через шесть минут приходит ответ, и он не тот, который я хотел.

— Пост три передаёт, — говорит Тимка. — Пантелеев ещё не подошёл. У них на подходе
трещина, обходят.

— Далеко обходят?

— Не знают.

Ещё через двадцать минут на посту три появляется Федя.

Это слышно по тому, как меняется качество доклада. Вместо «обходят» приходит вот
что:

— Костенко передаёт: прошли одиннадцать километров за три часа двадцать. Трещина
у восьмого километра, ширина полтора-два, вода поверх. Обошли к северу, крюк три кило-
метра. Лёд держит, но у самой трещины пешня уходит на четыре удара, а дальше на девять.
Лошади идут. Люди целы. Сани разгружены от лишнего: сняли два ящика с крепежом и кани-
стру, оставили на посту два.

— Вот, — говорю я Литвинову. — Вот поэтому я его и послал.

— Пешня на четыре удара, — говорит Литвинов задумчиво. — Это сколько?

— Это мало, — говорю я. — Я не специалист, но по тону понятно.

Зорин садится в двенадцать сорок.

Он вылезает из машины серый, с обмороженной полосой на щеке от плохо подогнанной
маски. Я встречаю его у стремянки и веду к блиндажу. Уже в дверях он задерживается, не
давая закрыть за собой полог, и первое, что говорит, — не про себя:

— Их надо вытаскивать сегодня. Завтра нельзя.

— Почему?

— Потому что трещина, которая идёт от гряды, меньше чем за час стала шире. Я её в
одиннадцать двадцать видел одной ниткой, а в двенадцать десять она уже с полосой воды. Если
ночью подвижка — машина уйдёт.

— Машина пусть уходит.

— Машина под ними, товарищ старший лейтенант, — говорит Зорин. — Они у неё под
крылом сидят, у них там ветром не задувает. Если она уйдёт ночью, они останутся на голом
льду.

— Сядь, — говорю я.

— Я не устал.

— Сядь.

Он садится на ящик. Я разворачиваю его лицом к свету и смотрю на щеку.

Полоса идёт от скулы к уху, белая, с восковым отливом, шириной в два пальца. Маска у
него на этом месте прилегает неплотно, и он это знал ещё утром, и ничего не сделал, потому
что утром было не до того.

— Сколько раз ты её тёр в воздухе?

— Не считал.

— Значит, много. — Я зову дневального. — Горячего чаю и кусок сала. Не спорь, тебе
ещё один вылет.

Пока он ест, я делаю арифметику, которую он за меня не сделает.

Зорин на ногах с полуночи. Один разведывательный вылет ночью, один поисковый —
четыре с половиной часа. Впереди второй, не больше трёх часов, включая обратную дорогу.
Итого к вечеру у человека будет восемнадцать часов на ногах и больше одиннадцати часов в
воздухе, если считать ночную разведку.

Я знаю, чем это кончается, и знаю очень точно. Кончается это не тем, что человек падает.
Кончается тем, что на пятом часу он перестаёт видеть мелочи. Он по-прежнему хорошо ведёт

машину, хорошо считает курс, нормально разговаривает — и просто не замечает тонкой чёрной нитки на белом, потому что глаз её уже не выделяет.

А сегодня вся работа состоит ровно из тонких чёрных ниток на белом.

— Виктор, — говорю я. — Скажи честно: ты второй вылет тянешь?

Он перестаёт жевать.

— Вы меня снимаете?

— Я тебя спрашиваю.

Он думает. Это, кстати, само по себе хороший признак: полгода назад он бы ответил мгновенно.

— Первые три часа тяну, — говорит он. — Четвёртый — не поручусь.

— Вот и хорошо, что не поручишься. — Я беру карандаш. — Тогда так. Вzlёт в пятнадцать десять. Работа над точкой — до семнадцати тридцати. После семнадцати тридцати ты идёшь домой, что бы там внизу ни происходило. Это не рекомендация, это предельное время ухода от точки. Посадку считай отдельно, с дорогой.

— А если они в семнадцать тридцать будут ещё у машины?

— Тогда они будут у машины без тебя, а Пантелеев доведёт их по своему следу, — говорю я. — У него след, у него пешня и у него одиннадцать человек за зиму. Он в тебе нуждается не для того, чтобы ты держал его за руку.

Зорин молчит.

— И ещё, — говорю я. — До вылета тебе больше двух часов: саням сейчас всё равно идти и идти. Щёку покажешь дежурному фельдшеру, маску подгоните заново. После еды ложишься в тёмном помещении; перед подъёмом проверим состояние всего экипажа. Глаза закрыты, на свет не смотришь. Это тебе не отдых, это чтобы глаз отпустило.

— Откуда вы это взяли?

— Из опыта, — говорю я. И не добавляю, из чьего.

Заправка — сорок минут. Я использую это время на две вещи.

Первая — Лида.

Я говорю с ней по телефону, и она перебивает меня на третьей фразе.

— Иванов, стоп. Сколько времени они на льду?

— Восемь часов.

— Раненый?

— Штурман. Что с ним — не знаем, наружу не выводят.

— Правильно делают. — Слышно, как она что-то пишет. — Записывайте и передавайте дословно вашему старшине, а он пусть повторит. Первое: снегом не растирать. Никого. Второе: спирта не давать, ни капли, даже если будут просить, даже если замёрзли. Третье: горячее сладкое питьё, если человек в сознании и глотает. Четвёртое: раненого не сажать, везти лёжа, подложить под спину и бока что есть, чтобы не мотало. Пятое: укрыть от ветра сверху и снизу, снизу важнее — лёд тянет тепло сильнее воздуха.

— Записал.

— И шестое, — говорит Лида. — Если у штурмана перелом, они захотят его выпрямить, чтобы удобнее лежал. Пусть не выпрямляют. Везут как лежит, закрепив.

— Передам.

— Иванов.

— Да?

Глава 3



— Я вам комплект уже отправила с полуторкой. Грелки, два одеяла, брезент и термос. Термос один, других нет, скажите, чтоб не разбили.

— Скажу.

— И ещё, — говорит она, и тон у неё меняется. — Вы там сами как?

— Я на земле.

— Я знаю, что вы на земле. Я спрашиваю, как вы.

— Отвратительно, — говорю я. — Спасибо, что спросили.

— Вот и хорошо, — говорит Лида. — Значит, всё нормально. Я жду раненого, у меня готово.

Вторая вещь — телефон с ледовым постом, и вот тут я получаю по носу.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит начальник поста Гуляев, человек с очень спокойным и очень усталым голосом. — Полуторку на лёд за грядой я не пушу.

— Мне нужно вывезти раненого.

— Вывезете санями до меня. А полуторка стоит здесь, на твёрдом.

— Гуляев, там человек.

— Там четверо, — говорит он. — И если я пушу гружёную машину по вчерашней дороге, там будет восемь, и половина в воде. Я эту дорогу вчера закрыл. Не сегодня — вчера. У меня подвижка прошла в ночь на позавчера, и с тех пор по ней ходят только сани и только порожняком.

Я стою с трубкой и очень хорошо понимаю, что сейчас у меня есть выбор: давить или соглашаться.

Давить я умею. Я даже знаю, как: сослаться на полк, на приказ, на человеческие жизни, на то, что он не понимает обстановки.

И я знаю, чем это кончится. Кончится это тем, что Гуляев уступит, потому что старший по званию давит, а потом полуторка встанет на слабом месте, и нам придётся вытаскивать её, и вытаскивать будут те же люди, которые сейчас должны тащить раненого.

— Гуляев, — говорю я. — Принято. Полуторка стоит у вас. Где именно ей стоять, чтобы сани пришли к ней кратчайшим путём?

Пауза. Он явно готовился к другому разговору.

— У моего поста, — говорит он. — Он в стороне от третьего, до самолёта отсюда около четырёх километров. По твёрдой ветке дорога подходит; дальше запрещено. Я ей место покажу. И вот что, товарищ старший лейтенант: пусть ваши на санях идут не кучей. Растянуться на десять — пятнадцать шагов. И верёвки не в руках, а на поясе.

— Передам дословно.

— И ещё. — Он мнётся. — Если у вас там самолёт... вы имейте в виду, мы за железо не пойдём. Я людей за железо на этот лёд не пушу.

— Никто вас за железо не просит.

— Обычно просят, — говорит Гуляев.

Зорин уходит во второй раз в пятнадцать десять.

В пятнадцать пятнадцать звонит Кострицын.

— Иванов. Нашли?

— Нашли. Идут сани.

— Хорошо. Теперь про ночь. — Он не тратит времени на поздравления, и я ему за это благодарен. — Сокращённый состав — сколько машин?

— Четыре вместо шести.

— Ведущий?

И вот здесь я сажусь и произвожу то арифметическое действие, за которое завтра буду отвечать.

Зорин сядет около шести. Он проведёт в воздухе больше одиннадцати часов за сутки, из них два вылета подряд, он с ночи не спал и у него обморожена щека. Формально я могу поставить его ведущим на ночь: он не откажется, он даже обрадуется.

И он приведёт группу к цели, потому что он умеет. А вот на обратном пути, на пятом часу, когда надо будет замечать не цель, а мелочи, он их не заметит.

— Ведущий — Барсуков, — говорю я.

— Барсуков цель не видел.

— Барсуков увидит снимки Сомова и пойдёт по ним. Зорин видел цель своими глазами, но Зорин сегодня в воздухе с восьми утра.

— Это ваше решение?

— Моё.

— Тогда пишите, — говорит Кострицын. — И чтоб в журнале стояло: «состав изменён по решению исполняющего обязанности командира эскадрильи в связи с проведением поисковой операции». Не «в связи с усталостью экипажа». Усталость — это не документ.

— Напишу.

Барсукова я нахожу у столовой.

Это отдельная неприятная минута, и я её не откладываю.

— Барсуков. Сегодня ночью ведёшь ты.

Он ставит кружку.

— А Зорин?

— Зорин на поиске. Вернётся к шести и больше никуда не пойдёт.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Барсуков осторожно, — а цель-то...

— Пойдём, покажу.

Мы идём к Сомову, и там, в тесной комнатухе, пахнувшей проявителем, разглядываем ещё мокрые отпечатки: полоса, два снежных обвалования, тёмное между ними, и дым, действительно низкий, стелющийся.

— Вот это — что? — говорит Барсуков, тыкая пальцем.

— Сомов говорит, тягач.

— А это?

— Не знаем.

Барсуков смотрит долго.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он наконец. — Скажу прямо. Я бы хотел, чтоб вёл Зорин. Он там был.

— Я тоже хотел бы.

Барсуков придвигает к себе снимок, оставляя у края место для маршрутной карты.

— И четыре машины вместо шести. Две не доберут серию по этим стоянкам. Из-за поиска.

— Из-за поиска, — говорю я. — И это ровно то, что сегодня стоит наша ночь: две машины и ведущий, который видел цель. Я тебе это говорю прямо, чтобы ты не узнал от других и не решил, что тебя подставили.

Барсуков молчит, потом кивает.

— Понял. Мне восемь кадров и Сомова на полчаса.

— Бери на час.

Он уходит с отпечатками, а я стою в проявительной и слушаю, как в кювете капает.

Мне тридцать лет опыта говорят, что я сделал правильно.

А в груди при этом сидит чёткое, простое, детское: сегодня ночью из-за меня по той полосе отработают вчетвером, и часть того, что там стоит, останется стоять.

Сани доходят в пятнадцать пятьдесят.

Я узнаю об этом не сразу — сначала приходит доклад Зорина, что видит сани в двух километрах от точки, потом двадцать минут тишины, потом снова Зорин:

— Подошли. Люди у машины.

Дальше — сорок минут, в которые я не участвую вообще.

Я сижу в блиндаже, курю чужие папиросы, хотя вообще-то не курю, и слушаю, как Тимка принимает обрывки.

Обрывки такие:

«Сани у машины».

«Людей вижу четверых».

«Грузят».

И между ними — по восемь, по двенадцать минут тишины, в которые я успеваю прожить довольно много лишнего.

Телефон на посту три молчит: Федя там не появится, он на льду. Гуляев звонит один раз и говорит, что видит их в бинокль как точку, и что точка стоит. Потом кладёт трубку, потому что говорить ему нечего, а линия одна.

Литвинов в это время занимается тем, чем занимаются умные люди, когда нечего делать: чертит обратную дорогу. Считает, сколько идти саням от точки до Гуляева по обходу, за какое время, и в каком месте их застанет темнота.

— Восемнадцать двадцать, — говорит он наконец. — Если выйдут в шестнадцать тридцать и не встанут.

— А если встанут?

— Тогда неважно, во сколько, — говорит он. — Тогда важно, с кем.

Я дважды поднимаю руку к микрофону и дважды опускаю.

Я хочу спросить у Зорина, что там. Это желание совершенно нормальное, человеческое и абсолютно вредное: он сейчас ходит кругами на трёхстах метрах над людьми, смотрит вниз и считает свою трещину, а я влезу к нему в наушники с вопросом, на который он и так ответит, как только будет что отвечать.

В шестнадцать двадцать две Тимка принимает его доклад про растущую трещину.

И вот тут я наконец делаю за весь этот день что-то своё.

— Тимка. Передавай: «Работу над санями продлеваю до семнадцати пятидесяти при достаточном остатке. После — прямо домой. Подтвердить горячее. Приказ мой».

Тимка поднимает голову.

— А топливо?

— По утреннему расчёту хватает на семнадцать пятьдесят плюс дорога, — говорю я. — Но нужен его фактический остаток. И весь полёт должен уложиться в те три часа, на которые договорились.

Тимка смотрит на последнюю строку расхода.

— Обратную дорогу он ещё не пересчитал.

— Потому и запросили остаток. Без его подтверждения прежний срок остаётся. Я хочу, чтобы он вёл сани по согласованному времени, — говорю я. — Самовольно оставаться ему нельзя, Тимка. Если расход или состояние экипажа не позволяют продлить — уйдёт по прежнему сроку. Прикрыть нехватку сил моей подписью не получится.

Тимка отстукивает.

Ответ приходит короткий: «До семнадцати пятидесяти обеспечен. На посадке остаток двенадцать минут. Принял. Веду». Литвинов проверяет его цифры; я оставляю разрешение в силе.

Восстанавливаю я всё это потом, вечером, из Фединога доклада и из того, что рассказывает Пантелеев, и ещё позже — из того, что говорит сам Сухих.

Сани подошли не вплотную. Пантелеев остановил их за сто шагов, прошёл вперёд один с пешней, промерил, вернулся, провёл лошадей по своему следу и поставил их так, чтобы уходить, не разворачиваясь.

Троих — Сухих, стрелка Ерёменко и стрелка Батюка — нашли под левым крылом, в яме, вырытой в снегу и накрытой чехлами. Они были в сознании, но Батюк уже не очень.

Гриневич лежал в фюзеляже. У него была сломана нога и, как потом окажется, три ребра, и он больше одиннадцати часов пролежал на дюрале, который всё это время честно тянул из него тепло.

Пантелеев залез внутрь первым.

— Товарищ, вылезает, — сказал он.

И Гриневич сказал ему:

— Портфель.

Бортовой портфель у него был под боком: карты, бортжурнал и кассета с плёнкой, за которой они, собственно, и ходили.

— Портфель потом.

— Портфель сейчас, — сказал Гриневич. — И аппарат. Аппарат в носу, он тяжёлый, вдвоём вынесете.

По Фединому рассказу, Пантелеев на это ничего не ответил. Вдвоём с Ерёменко они подложили под Гриневича брезент, закрепили повреждённую ногу в том положении, в каком она лежала, и позвали Федю к люку. Выносили втроём: один поддерживал плечи и грудь, другой таз, третий не давал ноге повиснуть над порогом. Штурман стонал, вцепившись в портфель. Когда его уложили на утеплённые сани и подоткнули по бокам свёрнутые чехлы, старшина сказал ему, глядя сверху:

— Слушай меня. Я сейчас прошёл сюда по одной ниточке. Она вот такая. — Он показал ладонью. — По ней я могу пройти ещё раз. Может быть. А может, не пройду, и тогда вместо тебя повезут меня. Портфель у тебя в руках, я его отнимать не буду. Аппарата не будет.

И Гриневич, по словам Феди, сказал:

— Понял.

А потом, уже когда его укладывали и укрывали, попробовал приподняться и спросил:

— А кассета?

— Кассета у тебя в портфеле, — сказал Пантелеев. — Ты её держишь.

Сухих в это время стоял у крыла.

Ему двадцать три года, и это его машина, и он посадил её ночью на лёд сохранив всех четверых живыми, и он в тот момент — я это очень хорошо понимаю — думал не про кассету и не про приборы. Он думал про то, что вот она стоит, целая, на брюхе, с погнутыми винтами, и что летом её можно было бы...

— Товарищ старшина, — сказал он. — Если снять радиостанцию и часы...

Федя говорит, что Пантелеев в этот момент посмотрел не на него, а на лёд.

— Лейтенант, — сказал он. — Вон та чёрная нитка час назад была в ладонь. Сейчас в локоть.

Зорин в это время шёл над ними на трёхстах метрах.

По его докладу — тому, который Тимка принял в шестнадцать двадцать две, — он видел, как от гряды к самолёту идёт тёмная линия, и видел, что она стала шире, чем была утром, и что вода на ней не замерзает.

Он передал вниз единственным способом, который у него был: прошёл низко вдоль трещины, покачивая крыльями, три раза.

— Зачем три? — спросил я его потом.

— Чтоб не подумали, что это привет, — сказал он.

Сани пошли обратно в шестнадцать тридцать пять.

Машина ушла в разлом в шестнадцать пятьдесят с чем-то. Точного времени никто не назвал, потому что никто не смотрел на часы.

Федя говорит, что звук был не такой, как ждёшь. Не треск и не грохот. Сначала долгий низкий стон льда, слышный ступнями раньше, чем ушами. Потом что-то вроде вздоха. Потом всё.

Они в этот момент были в восьмистах метрах и шли в цепочке, растянувшись на пятнадцать шагов, с верёвками на поясах, и никто не побежал назад смотреть, потому что бежать назад по слабому льду — это способ увеличить список.

— Обернулись? — спросил я.

— Обернулись, — сказал Федя. — Все обернулись. Кроме Пантелеева, он лошадь вёл.

Зорин видел это сверху и передал одной строчкой:

«Самолёт ушёл под лёд. Люди на санях, идут. Веду их».

Он вёл их ещё около часа, до самого продлённого мной срока.

Не потому, что они заблудились бы, — Пантелеев шёл по своему утреннему следу и не заблудился бы. А потому, что с воздуха видно то, чего не видно снизу: где на снегу под коркой лежит наледь, где старая дорога уходит к трещине, и где от гряды пошла вторая нитка, о которой внизу ещё не знают.

Каждый раз, находя такое, он пересекал их направление впереди, в стороне от упряжки, и покачивал крыльями.

— Первый знак мы не сразу разобрали, — сказал потом Федя. — Лошади головы подняли, одна стала пятиться, Пантелеев её под уздцы взял. Потом показал нам: самолёт дважды режет дорогу в одном месте. Велел стоять, сам сходил с пешнёй и нашёл воду под снегом. Зорин ещё круг сделал, уже дальше от лошадей. А мы пошли левее, по проверенному.

В семнадцать сорок пять сани дошли до поста Гуляева, где на твёрдом стояла полуторка.

Гриневича переложили с саней в кузов, на брезент, не выпрямляя ногу и не отнимая портфеля. Батюку влили горячего из того самого единственного термоса. Сухих сначала отказался лезть в кузов и хотел идти пешком, и Гуляев ему на это сказал что-то короткое, чего Федя не расслышал, после чего Сухих полез.

О звонке Лиды я вспомню уже после посадки Зорина. В восемнадцать двадцать она приняла их в береговом пункте, а в восемнадцать сорок позвонила мне и сказала ровно четыре вещи: Гриневич жив, нога закрытый перелом, три ребра, переохлаждение, будет жить; Батюк — обморожение пальцев обеих рук, вероятно, обойдётся; Ерёменко и Сухих — общее переохлаждение и ничего страшного; термос цел.

— Спасибо, — сказал я.

— Не мне, — сказала она. — Иванов, вы там ещё стоите?

— Сiju.

— Идите поешьте.

— Зорин уже сел. Пишет доклад.

— Тогда заберите его от бумаги и поешьте оба. Бумага до утра потерпит.

Но до этого звонка я ещё стою у полосы. Зорин садится в восемнадцать ноль девять, когда уже темно и полосу выкладывают фонарями.

Он катится по снегу, разворачивается у последнего фонаря и глушит моторы, и в наступившей тишине слышно, как тикает остывающий металл.

Я стою у крыла.

Он вылезает — медленно, сначала выкидывает планшет, потом спускается сам, — и стоит, держась за стремянку, и я вижу, что у него подрагивают руки.

— Остаток? — спрашиваю я.

— Минут на двенадцать, — говорит он.

— Двенадцать?

— Ну, пятнадцать.

— Виктор.

— Двенадцать, — говорит он. — Я знаю. Я перед последним заходом посчитал и решил. Мы идём к блиндажу. Снег скрипит. Он молчит полдороги, а потом говорит:

— Товарищ старший лейтенант, я доложу сейчас, ладно? Не хочу до утра.

— Докладывай.

— Спасены четверо, — говорит Зорин. — Лейтенант Сухих, младший лейтенант Гриневич, сержант Ерёменко, красноармеец Батюк. Гриневич ранен, перелом, вывезен лёжа. Батюк обморожен. Всех четверых перегрузили у Гуляева. Полуторку я видел на обратной дороге; до медпункта ей оставалось немного. Дальше не знаю.

Он останавливается посреди дороги.

— Самолёт утрачен, — говорит он. — Ушёл под лёд примерно в шестнадцать пятьдесят, точное время не зафиксировано.

— Дальше.

Он смотрит мне в лицо.

— Дальше — моё, — говорит он. — В шестнадцать двадцать я видел сверху, что трещина растёт, и понял, что до темноты снять с машины ничего не успеют, а если пытаться, то сани простоят на месте ещё час. Я передал знак на отход. Я знал, что после этого машину мы потеряем. Я это решил, и никто мне этого не приказывал.

Он переводит дыхание.

— Товарищ старший лейтенант, я специально говорю «решил», а не «так получилось». Потому что получилось бы и иначе. Можно было дать им полчаса. Может, и успели бы.

Я стою в темноте и смотрю на него.

Мне сейчас очень хочется сказать ему то, что говорят в таких случаях: молодец, всё правильно, никаких сомнений. Это было бы честно по содержанию и неправильно по существу, потому что завтра на разборе ему это скажут или не скажут другие люди, и моё сегодняшнее «молодец» не будет стоить ничего.

— Записывай это так же, как сказал, — говорю я. — Слово в слово. С «решил».

— А не хуже будет? — спрашивает он. — Если написать «получилось», спросят мягче.

— Спросят мягче, — соглашаюсь я. — А ты потом всю жизнь будешь думать, что тебе это сошло. Пиши «решил».

— Есть.

— И ещё. Ты сейчас пойдёшь есть и спать. Разбор завтра в одиннадцать, и на нём будешь ты и будет Гуляев.

— Гуляев?

— Начальник ледового поста. Тот, который не пустил полуторку.

— Он-то зачем?

— Затем, что ты видел трещину сверху, а у него есть замеры пути и доклад Пантелеева, — говорю я. — А завтра в этой комнате будет пять человек, которые начнут объяснять, как надо было. Вот пусть они послушают тех, кто там был.

Позже, уже ночью, когда уходит группа Барсукова — четыре машины вместо шести, и звук их уходит на запад, и я стою и слушаю, пока не перестаёт быть слышно, — я возвращаюсь в блиндаж.

На столе лежит карта.

Литвинов перед уходом поставил на ней отметку: маленький крестик севернее трассы, у гряды, и рядом подписал время и слово «утрачен».

Я сижу над ней один.

По журналу у меня за сегодня: четыре человека спасены, один самолёт потерян, боевой состав на ночь сокращён на треть, израсходовано горючего на два поисковых вылета, изменение дежурного состава подписано мной.

Завтра в одиннадцать всё это придётся сложить в одну фразу, и я пока не знаю, какую.

В планшете у меня лежит письмо, которое я начал два дня назад и не дописал, и карточка, на которой женщина в чужом пальто стоит у крыльца и смотрит прямо.

Я достаю её, смотрю с минуту и убираю обратно.

Не сегодня.

Сегодня у меня на карте стоит крестик, а под ним, на глубине, лежит машина, за которую завтра придётся отвечать — и которая стоила ровно столько, сколько стоила, и ни копейкой больше.

Глава 4



Вопрос задают на сорок второй минуте, и задаёт его не тот, кого я ждал.

Я готовился к штабу. Штаб у нас на такие вещи реагирует громко и коротко: потеряна боевая машина, объясните. А спрашивает капитан Черных, представитель дивизии, человек с тихим голосом и серым лицом, который всё это время сидел в углу и ничего не записывал.

— Товарищи, — говорит он, — я не собираюсь никого воспитывать. Мне надо подписать акт. В акте будет сказано, что самолёт утрачен. Меня спросят: пытались ли его вывезти. Я должен ответить не «нет», а объяснить, почему нет. Так вот, объясните мне.

В классе тихо. Класс у нас — бывшая столовая, с длинными столами и с картой на фанере, и сейчас на этой фанере приколоты не карта района, а схема куска озера, нарисованная от руки.

Майор Свиридов, командир полка, поворачивается ко мне.

— Иванов.

Я встаю.

— Товарищ майор, разрешите отвечать не мне первому.

— А кому?

— Зорину. Он там был. Потом начальнику ледового поста. Потом я, потому что мне отвечать за последствия, а не за минуту.

Свиридов смотрит на Черных. Черных пожимает плечами: мне всё равно, лишь бы по порядку.

— Зорин.

Я сажусь обратно на скамью. Зорин встаёт и идёт к фанере, и я отмечаю, что он идёт туда со своей папкой, а не с пустыми руками. Месяц назад он бы пошёл с пустыми.

— Разрешите, я сначала нарисую, — говорит он.

— Рисуй.

Он берёт мел и начинает не с самолёта, а с берега.

— Вот берег. Вот ледовый пост, откуда идёт накатанная трасса. Вот сюда, — он ставит крестик за грядой, — сел экипаж Сухих. Ночная вынужденная, на брюхо; винты погнуты. Все остались живы, но штурман Гриневич получил переломы.

— Время? — спрашивает Черных.

— Обнаружил в одиннадцать двадцать одну. Доклад не поступил в четыре пятнадцать, расчётная посадка была в пять сорок пять. После шести собирали поиск; в восемь ноль пять я вылетел. С первого направления самолёт закрывала гряда.

— Дальше.

— Сразу передал привязку на наш пункт. Двое саней Пантелеева вышли с берега ещё в восемь тридцать, до обнаружения. На посту получили координаты, дальше шли с обходами. К самолёту подошли в пятнадцать пятьдесят. Фельдшер ждала на берегу; с группой были её укладка и указания.

— Почему так долго? — спрашивает Свиридов.

— Потому что не по прямой, — говорит вместо Зорина техник-лейтенант Гуляев.

Гуляев — начальник ледового поста, пожилой, с обветренным до кирпичного цвета лицом, в ватнике поверх кителя. Он гидрограф, он тут третью зиму, и он единственный в этой комнате, кому по-настоящему всё равно, кто здесь в каком звании.

— Разрешите к схеме?

— Идите.

Зорин кладёт мел на планку и отступает, освобождая место. Гуляев подходит, достаёт из пазухи потрёпанную тетрадь в клеёнке и раскрывает её на нужной странице.

— Вот мои замеры за то утро. Лунки бью каждые двести метров по трассе и каждые пятьсот в стороне. По трассе в тот день было сорок два сантиметра и вода поверх льда пятнадцать. В стороне, вот тут, где сел самолёт, — тридцать четыре. А вот здесь, — он ведёт пальцем линию, которая проходит между самолётом и берегом, — здесь станова́я щель. Она была и в феврале, и в марте, только в феврале она держала, а теперь начала работать.

— Работать?

— Дышать, — говорит Гуляев. — Расходиться и сходиться. К вечеру она разошлась ещё сильнее; это подтверждают и группа Пантелеева, и Зорин.

Черных поднимается из угла, подходит и наклоняется к схеме.

— То есть трещина оказалась между машиной и берегом.

— Именно. И трасса, по которой можно тащить что-то тяжёлое, пересекает её вот тут, в одном месте. Там у нас настил из брёвен. Настил держит сани, лошадь и полуторку порожняком. Он не держит машину в несколько тонн.

— Сколько весит самолёт?

— Пустой около шести, — говорю я с места. — Плюс остатки горючего, плюс лёд на плоскостях. И это не мешок, который можно положить как удобно. Это машина с размахом в двадцать один метр, её нельзя тащить по трассе шириной в четыре.

Черных выпрямляется.

— Хорошо. Я услышал, что тяжело. Мне этого мало. Мне надо услышать, что было конкретно в ту минуту, когда приняли решение бросить.

— Зорин, — говорю я. — Отвечай.

Гуляев закрывает тетрадь и отходит к столу. Зорин подбирает мел с планки.

— В шестнадцать двадцать я был над ними и видел всё сверху. Рисую, как видел.

Он рисует: самолёт, рядом чёрточку — сани; правее кривую линию трещины; крестик — люди.

— Раненый — штурман Гриневич, сломанная нога и рёбра. Его к этому времени уже уложили на сани и привязали. Пантелеев уже укладывал его для отхода. Второе: трещина шла

вот здесь. При первом обнаружении самолёта была тонкая линия; к шестнадцати двадцати я видел, что полоса открытой воды расширяется.

— Вы это точно видели с воздуха?

— Я видел чёрную полосу, которая стала шире, — говорит Зорин. — Утверждать сантиметры я не буду. Я доложил так: полоса расширяется.

— И что вы приказали?

— Я дал знак на отход, — говорит Зорин. — Три прохода вдоль трещины с покачиванием. По радио доложил своему пункту: надо вывозить людей. Прямой связи с санями не было. Я решил не задерживать их ради имущества; как именно выходить по льду, решал Пантелеев.

— А если бы не согласился?

— Тогда бы он остался, — говорит Зорин. — Я мог повторить знак и передать на землю, что вижу. Оставаться до пустых баков мне не разрешали, да и людей этим не вывезешь. Это всё, что я мог сделать.

Черных садится.

— А теперь давайте разберём то, о чём я обязан спросить, — говорит он. — Предположим, вы решили иначе. Предположим: людей с ранеными увозят, а машину оставляют до утра и с утра пробуют тащить. Что тогда?

— Тогда, — говорит Гуляев, — я должен вам дать проходимость. Я её не дам.

— Почему?

— Потому что я её меряю, а не желаю. — Гуляев листает свою тетрадь. — Чтобы тащить шесть тонн на широком волоке, мне нужен лёд не меньше шестидесяти сантиметров по всему пути, и мне нужен путь без работающей щели. На этом участке у меня этого нет. Я не могу подписать то, чего нет.

— Допустим, вы рискнули.

— Тогда я утоплю тягач, тракториста и четверых сопровождающих, — говорит Гуляев ровно. — А самолёт всё равно утоплю, потому что он пойдёт первым.

— И всё-таки, — Черных не отступает, и я вижу, что он не вредничает, он действительно должен принести наверх непробиваемый ответ. — Мне скажут: можно было хотя бы попробовать. Оставить у машины пару человек, чтобы она не ушла без присмотра, и поискать способ.

И вот тут наступает та самая минута, ради которой я и хотел говорить последним.

— Товарищ капитан, — говорю я, вставая. — Разрешите я вам это предложение переведу на человеческий язык.

— Переводите.

— Всякое «надо было попробовать» упирается в живого человека с фамилией. — Я подхожу к фанере. — Вот машина. Вот трещина. Оставить у машины — это значит: назовите фамилию того, кто останется здесь, на льду, за грядой, вдали от действующей трассы, когда группа уйдёт с ранеными.

Я ставлю мелом пустой кружок рядом с самолётом.

— Дальше. Он остаётся на сколько? На ночь? Тогда ему нужны палатка, печка, горячее и смена. Значит, к нему пойдут ещё люди — по той же трассе, через ту же щель, ночью. Это уже не один человек в кружке, это шесть.

— Шесть, — повторяет Черных.

— Дальше. Что он делает, когда щель расходится? Он не может ни удержать машину, ни оттащить её. Он может только смотреть, как она уходит, и уходит самому. Значит, всё, ради чего он там сидел, — это чтобы кто-то потом мог сказать, что мы попробовали.

Я кладу мел.

— Товарищ капитан, я вам честно скажу вот что. Если бы мы могли поставить на карту одного человека и вытащить самолёт — я бы, наверное, стал думать. Мы не могли. Мы могли поставить шестерых и не вытащить ничего.

Молчание держится секунд пять.

— Принято, — говорит Черных и наконец что-то записывает. — Вот это я наверх и повезу. Не «было тяжело», а «удержание машины требовало оставить на льду группу, которая не могла повлиять на исход».

— И ещё одно, — говорю я.

— Слушаю.

— Есть вторая сторона, и её в акте обычно нет. Машину эту искали не просто так. Экипаж искали машиной, которую штаб выделил после моего запроса. Я подписал сокращение ночного состава: четыре вместо шести. По разведанной площадке пошёл Барсуков; Зорина после трёх вылетов я на ночь не поставил.

Свиридов поднимает голову.

— Это ты сейчас на себя берёшь?

— Это я сейчас докладываю как есть, — говорю я. — Задачу по вражеской площадке выполнили меньшим составом. Пока Зорин вёл спасателей, я готовил ему замену. Если кто-то считает, что это неправильный размен, пусть скажет сейчас, а не через месяц.

Никто не говорит.

— Сядь, — говорит Свиридов. — Черных, вам ещё что-нибудь надо?

— Мне надо, чтобы Гуляев дал справку с замерами за то число, — говорит Черных. — С подписью. Это сильнее любых объяснений.

— Дам, — говорит Гуляев. — Только я её напишу от руки и без красивых слов.

— Красивых слов мне как раз не надо.

Черных уезжает в тот же день, а два приказа приходят через четыре.

Читают их утром, на построении, и читают подряд, что, в общем, правильно: они об одном и том же, только с разных концов.

Первый — короткий. Зорин назначается командиром звена. Не исполняющим обязанности, не временно, а командиром, с записью в личное дело.

Второй длиннее, и он мне дороже.

«...разрешить командиру эскадрильи выделять поисковые средства до получения решения вышестоящего штаба при наличии признаков: пропущенный контрольный доклад в установленную минуту; отсутствие приёма двумя постами; истечение расчётного времени полёта...»

Дальше идёт то, что я туда воткнул сам и что мы ещё до этого поиска обсуждали с ледовой службой: решение о проходимости льда и наземных путей остаётся за ледовой службой. То есть я могу поднять людей и машины, но я не могу отправить трактор туда, где Гуляев не подписал.

Это и есть граница.

Без неё мне через месяц объяснили бы, что раз уж я такой самостоятельный, то пусть я и решаю, где лёд держит. И я бы решил, и однажды решил бы неправильно, потому что я лётчик, а не гидрограф.

После построения Зорин занимается молодыми, и я иду посмотреть, чем именно.

Они сидят на завалинке у землянки — шестеро, из них трое совсем новые, пришли в феврале, — и Зорин рисует прутиком по земле.

— ...значит, так, — говорит он. — У Сухих был назначен контрольный доклад в четыре пятнадцать. Он его не дал.

— Потому что рация? — спрашивает молодой.

— Потому что рация, но это выяснилось потом. А в четыре пятнадцать мы этого не знали. Запросы соседним узлам начали ещё до посадочного срока, но людей для наземного поиска не предупредили.

— А чего вы ждали?

— Со сбором спасателей ждали посадки, — говорит Зорин. — В пять сорок пять самолёта не было, потом вышел запас на задержку. Только тогда стали собирать людей и подробно опрашивать свидетелей. Вылетать в темноту по одному молчанию не обязательно; людей и сведения готовить можно было раньше.

— Так ведь он мог просто...

— Мог. — Зорин поднимает прутик. — И девять раз из десяти он действительно просто. А на десятый он сидит на льду с переломанным штурманом. Любая потерянная на берегу минута остаётся ему там.

Он чертит по земле три линии.

— Поэтому теперь так. Пропущенный доклад — первый признак. Два поста не слышат — второй. Расчётное время вышло — третий. Два признака из трёх — и мы начинаем шевелиться, не дожидаясь, пока кто-нибудь наверху разрешит.

— А если он потом объявится, а мы уже подняли людей?

— Тогда мы над ним поржём, а он нам поставит чаю, — говорит Зорин. — Это дешевле, чем то, что было.

Я слушаю с угла и не вмешиваюсь.

Дело не в том, что он говорит правильные вещи. Дело в том, что он говорит их своими словами и приводит в пример собственную задержку с подготовкой поиска, а не чужой удачный случай. Такое запоминается.

К апрелю приходит третья бумага, и она не про лёд.

Про неё в полку знали неделю, но одно дело знать, а другое — сидеть в штабной комнате, где на столе разложены четыре списка, и представитель формируемого полка дальнего действия, майор Дейнека, сверяет их по строчкам.

Дейнека молодой для майора, лет тридцати, с быстрым карандашом и очень ровным почерком.

— Начнём с людей, — говорит он. — Иванов, старший лейтенант, командир эскадрильи. Так?

— Исполняющий обязанности.

— У меня написано «командир». — Он смотрит в бумагу. — И представление на капитана у вас где-то ходит с февраля.

— Ходит, — соглашаюсь я. — Судя по скорости, пешком.

— Дойдёт. — Он ставит галочку. — Литвинов, штурман. Журавлёв, радист. Костенко, стрелок. Зорин, командир звена, с ним три экипажа. Плешаков, моторная группа, с ним шесть человек. Руденко, планер.

И вот тут поднимается капитан Мельник — тот, кто принимает у нас северные морские задачи.

— По Руденко возражаю, — говорит он.

Мельник не крикун. Он невысокий, спокойный, с флотской манерой говорить чуть медленнее, чем думает.

— Обоснуйте, — говорит Дейнека.

— Обосновываю. — Мельник кладёт руку на свой список. — Я принимаю район, где половина посадок с повреждениями от зенитного огня с кораблей. Это дыры в плоскостях, это лонжероны, это заклёпка. Мотористы мне есть кого дать, а планериста уровня Руденко на весь участок один. Вы его увозите на юг, а у меня через месяц машины встанут не по моторам, а по дыркам.

Он смотрит на меня.

— Иванов, ты сам понимаешь.

Понимаю. И это, надо сказать, самый неприятный момент за все три дня, потому что он прав ровно настолько же, насколько прав я.

— Товарищ майор, — говорю я Дейнеке. — Разрешите не спорить, а предложить размен.
— Предлагайте.

— Руденко идёт с нами. Взамен я оставляю здесь второй комплект учебных материалов — весь курс ночного возвращения, который до ухода перепишем набело, — и оставляю Савченко.

Мельник поднимает брови.

— Савченко — это который связь?

— Который связь, — говорю я. — Он у нас четвёртый месяц ведёт эфирный журнал и умеет учить радистов. Я его не просто оставляю, я его оставляю со сменой: он с сегодняшнего дня самостоятельно ведёт смену и обучает новых.

— А ваш Журавлёв?

— Журавлёв передаёт ему записи. Все. С сорок первого года.

Мельник думает.

Мельник раздвигает два списка, оставляя между ними фамилию Руденко.

— Записи — это хорошо. Только крыло они мне не залатают.

— Записи плюс человек, который по ним учился и умеет объяснить, — говорю я. — Я вам не бумажку отдаю, товарищ капитан. Я вам отдаю единственного специалиста, которого мне самому будет не хватать на юге.

— А Руденко вам зачем на юге?

— Затем, что там пыль, жара и перебазирования, — говорю я. — И там мы будем латать машины в поле без всякой мастерской, и без него это будет делать некому.

— Планерную смену Руденко передаст вашему старшему мастеру, — добавляю я. — До ухода они вместе закончат две стоящие машины. Савченко заменяет потерю по связи, а не притворяется вторым Руденко.

Мельник проводит черту под условиями передачи, молчит секунд десять, потом кивает.

— Согласен, — говорит он. — Но с условием: Савченко у меня не ординарец при рации. У него смена и ученики, как сказано.

— Так и записываем, — говорит Дейнека.

Дальше идут машины.

Их сверяют по бортовым и заводским номерам, и это скучнейшая процедура в мире, если не понимать, что за каждой строчкой стоит железо, которое кто-то чинил ночами.

— Тринадцатый, — читает Дейнека. — Заводской номер... так. Состояние?

— Исправен, — говорит Плешаков. — Правый мотор после ремонта, наработка отдельно записана, журнал передаю вместе с машиной.

— Ваш журнал куда пойдёт?

— Со мной, — говорит Плешаков. — Он на машину, а не на полк. Куда машина, туда журнал.

— Правильно, — говорит Дейнека и пишет.

Имущество занимает больше времени, чем люди и машины вместе.

Тут выясняется чудесное: за полгода на северной базе у нас накопилось имущество, которого нет ни в одной ведомости, — его сделали сами. Стеллажи, сушильный шкаф для приборов, самодельная тележка под агрегаты, коробка, ящики с гнёздами под инструмент.

— Это всё что? — спрашивает Дейнека.

— Это наше, — говорит Плешаков.

— «Наше» — не категория. Это числится?

— Часть числится как материалы. Часть не числится никак, потому что сделана из немецкого ящика и двух ломаных нар.

Дейнека чешет карандашом висок и откладывает этот лист в сторону, до конца.

Отдельной строкой идёт Белова.

— Метеоролог, — читает Дейнека. — Белова, вольнонаёмная. Вы уверены, что вам её дадут?

— Её уже дали, — говорю я. — Она в списке.

— Дать-то дали, — вмешивается Мельник. — Иванов, ты ей объясни, куда она едет. Она женщина городская.

— Я ей объяснил.

Белова сидит у окна и до этой минуты не произнесла ни слова. Сейчас она поднимает голову — маленькая, в очках, с той манерой говорить, будто читает вслух собственный прогноз.

— Мне объяснили, — говорит она. — Я еду.

— Вам там будет не как здесь, — говорит Мельник. — Там фронт движается.

— Здесь он тоже двигался, — отвечает Белова. — Товарищ майор, у меня вопрос по имуществу.

— Слушаю.

— Переданные мне довоенные записи и наши зимние журналы вместе дают полтора года наблюдений по этому району. Три толстых тетради и таблица повторяемости туманов и нижней кромки по месяцам. Это я считала сама, этого нет ни в одном справочнике.

— И что?

— И то, что на юге они мне не нужны, — говорит она. — Там другой климат. А здесь нужны.

Она снимает очки и протирает их.

— Я их оставляю капитану Мельнику. С условием, что их не выбросят при первом же переезде, а передадут тому, кто будет вместо меня. И я хочу, чтобы это записали.

— Запишем, — говорит Дейнека и пишет. — А с собой?

Глава 5



— С собой у меня один ящик, — говорит Белова. — Приборы, бланки и чистые тетради. На юге я начну новые.

— Долго вам их набирать?

— Год, — говорит она спокойно. — Вот поэтому я и хочу начать в апреле, а не в августе. Мельник хмыкает.

— Вот с этой я спорить не буду, — говорит он.

— Ладно, — говорит Дейнека, возвращаясь к своим листам. — Пишем отдельным перечнем: «имущество, изготовленное силами части». Только вы мне скажите честно: вы это увезёте или вы это тут бросите?

— Половину увезу, — говорит Плешаков. — Половину оставлю Мельнику, потому что оно к стенке прибито.

— Вот и хорошо.

Последним идёт подчинение, и Дейнека читает эту строчку вслух, медленно, чтобы все услышали.

— С момента убытия эшелона личный состав и материальная часть согласно спискам исключаются из состава авиации флота и поступают в распоряжение формируемой части дальнего действия.

Он поднимает голову.

— Товарищи, я обязан предупредить: полк ещё формируется. Номера я вам не назову, потому что его пока нет. Будет база, будет пополнение, будет всё остальное. Пока есть решение и есть направление.

— То есть мы едем в никуда, — говорит Зорин.

— Вы едете в место, которое вам назовут по дороге, — говорит Дейнека. — Это не одно и то же, хотя ощущение похожее.

Рябов приезжает принять школу и дела по подготовке. Вечером после всех бумаг я иду к нему.

Рябову я оставляю самое важное, что у меня тут есть, — не машины и не мастерскую, а школу.

Он ведёт занятие в той же бывшей столовой, где в марте разбирали лёд. Народу человек двадцать: свои, молодые из пополнения и двое штурманов от Мельника.

Я вхожу тихо и сажусь в последнем ряду.

Рябов меня видит и делает вид, что не видит. Правильно делает.

Тема — запасные площадки. На фанере висит наша карта с нашими же пометками, и Рябов идёт по ней от точки к точке: где садились, где смотрели с воздуха, где просто слышали, что есть поле.

— Вот эта, — говорит он, — семнадцатая. Смотрите на цвет. Она обведена синим.

— А что значит синим? — спрашивает молодой.

— Синим — то, куда мы садились сами. Красным — то, что мы видели с воздуха и оценили. А вот эти, без обводки, — это то, что нам рассказали.

И тут встаёт паренёк из пополнения — фамилию его я не помню, что-то на «шэ», — и говорит:

— Товарищ капитан, а вот тут, южнее, тоже есть поле. Мне местные сказали. Говорят, большое и ровное.

В комнате наступает та особая тишина, в которой сидящие ждут, что скажет старший.

Я чувствую, как у меня открывается рот.

У меня на этот вопрос есть готовый ответ, я его говорил раз двадцать, и мне сейчас физически хочется его сказать — потому что я знаю, как это делается, и потому что так быстрее.

Я закрываю рот и кладу руки на колени.

Рябов не спешит.

— Кто сказал? — спрашивает он.

— Ну... местные. Дед один.

— Дед — это хорошо, — говорит Рябов. — Дед тут живёт всю жизнь, и он много знает. Но давай разберём, что именно он тебе сообщил. Он сказал «поле»?

— Он сказал: там луг, ровный, до войны косили.

— Ровный для косы или ровный для колеса?

Паренёк молчит.

— Вот. — Рябов поворачивается к карте. — Ровный луг — это прекрасно, если ты идёшь пешком. А нам нужно знать другое: длину, уклон, грунт весной, что по краям — лес или кусты, и есть ли посреди него канава, которую дед не считает препятствием, потому что перешагивает её.

— Так что, не записывать?

— Наоборот. Записывать обязательно, — говорит Рябов. — Только записывать честно: «со слов местного жителя, луг, размеры неизвестны, не проверено». И ставить сюда вот такую пометку, без обводки. И при первом удобном случае — попросить разведчика пройти над ним и снять.

— А если срочно понадобится?

— Если срочно понадобится и ничего другого не будет — сядешь и туда, — говорит Рябов. — Но ты сядешь, зная, что садишься на непроверенное, и будешь заходить соответственно. Это совсем не то же самое, что сесть, думая, будто там аэродром.

Паренёк садится и пишет.

Я сижу в последнем ряду, и у меня, надо признаться, довольно глупое лицо.

Потому что ответ Рябова лучше моего. Мой был короче и злее. А он поговорил с человеком так, что тот теперь не боится приносить слухи и одновременно не будет их выдавать за факты.

После занятия мы остаёмся вдвоём и сверяем то, что остаётся.

— Люди, — говорю я. — Кто у тебя может вести это вместо тебя, если тебя завтра переведут?

— Гаврилов может, — говорит Рябов. — И Нечипоренко, но он сам ещё учится.

— Двое — это мало.

— Двое — это в два раза больше, чем один.

— Материалы, — говорю я. — Сколько у тебя копий курса?

— Одна.

— Плохо.

— Знаю, — говорит он. — Бумаги нет.

— Бумагу найдём. — Я лезу в планшет и вытаскиваю свою тетрадь, ту самую, с сорок первого, затёртую до бахромы по углам. — Вот. Это моя. Здесь всё вперемешку, зато с датами. Пусть двое перепишут набело: один — раздел про возвращение, второй — про площадки. И пусть сверят между собой.

Рябов берёт тетрадь и взвешивает её на ладони.

— Ты её отдаёшь?

— Я её оставляю.

— А тебе?

— А я её знаю наизусть, — говорю я. — И потом, если у меня на юге ничего не будет, кроме памяти, — значит, я плохо готовился.

Он листает.

— Слушай, — говорит он вдруг. — А ведь тут почерк меняется. Вот тут одной рукой, а с сорок второго — другой.

— Это Журавлёв писал под диктовку, — говорю я. — Когда мне было некогда, а у него кончалась смена.

— Хорошая у вас была система.

— Она у тебя теперь, — говорю я. — Не потеряй.

Анна Петровна приходит провожать в тот же вечер, и приходит она с корзиной.

Я сначала думаю, что она принесла что-то одно, но в корзине оказывается целое хозяйство: пироги, завернутые в холстину, кусок сала, узелок с сухарями, десяток яиц, переложённых сеном, и отдельно — две пары шерстяных носков.

— Носки-то зачем? — говорю я. — Мы на юг.

— На юг вы приедете в июне, — говорит Анна Петровна, — а ехать будете в апреле. Ты в вагоне ночью попробуй поспи.

С этим не поспоришь.

Она ставит корзину на нары. Тимка перекладывает яйца вместе с сеном в маленький ящик, Литвинов принимает свёртки, Федя укладывает их поверх дорожных вещей. Пока они освобождают корзину, Анна Петровна осматривает землянку тем взглядом, каким женщина осматривает помещение, из которого мужчины собирались сами.

— Ну конечно, — говорит она. — Кружки бросили.

— Мы их...

— Молчи. — Она собирает кружки и составляет их стопкой. — Я потом заберу.

Потом садится на край нары и говорит уже другое:

— Ты, Павел Сергеич, пиши.

— Буду.

— Все так говорят.

— Я буду, — говорю я. — Только я не мастер писать.

— А ты не мастерь, — говорит Анна Петровна. — Ты как есть пиши. Про погоду пиши, про еду. Я не про подвиги читать хочу, я хочу знать, что ты обедал.

Она поднимается.

— Ну всё. Мне ещё тесто ставить.

И вот тут надо отдать ей должное: никакого прощания она не устраивает. Она не говорит «может, больше не увидимся» и не плачет, хотя я по лицу вижу, что могла бы. Она просто берёт свою пустую корзину, кивает всем по очереди — Литвинову, Тимке, Феде — и уходит к своей кухне, потому что там у неё утром сорок человек завтрака.

К вечеру экипаж уносит дорожные вещи к каптёрке. Я остаюсь один. С Лидой получается позже и совсем иначе.

Она приходит в девятом часу, после смены, в наброшенной на плечи шинели, с тем серым лицом, какое бывает у неё в конце длинного дня.

— Присесть можно?

— Садись.

Она садится и первым делом смотрит вниз.

— Покажи сапоги.

— Лидия Андреевна.

— Покажи сапоги, Иванов. Ты едешь на десять суток в вагон, я хочу знать, в чём.

Я вытягиваю ноги. Она наклоняется, смотрит на подошву, потом двумя пальцами щупает шов на правом.

— Тут разойдётся, — говорит она. — Через неделю. Зайди к Кузьме, пусть прошьёт сегодня.

— Он уже спит.

— Он не спит, он сидит с сапожным ножом и слушает радио. Зайди.

— Есть зайти.

Она выпрямляется и некоторое время молчит.

— Ну что, — говорит она наконец. — Уезжаете.

— Уезжаем.

— Хорошо. Это, между прочим, хорошо, а не грустно. Здесь через месяц станет тихо, а вам надо работать.

— Ты остаёшься.

— Я остаюсь, — говорит Лида. — У меня тут сто двадцать коек, аптека, две операционные сестры, которых я полгода учила, и раненые, которых я не брошу на девочку из пополнения. Меня никто не переводит, и я никуда не прошусь.

Она говорит это спокойно, и в этом спокойствии нет ни намёка на обиду, и я в очередной раз думаю, как мне с ней повезло.

— Теперь про письма, — говорит она.

— Что про письма?

— Ты будешь писать бодрые. — Она смотрит прямо. — Я знаю тебя с сорок первого. Ты напишешь: доехали хорошо, устроились, все живы, погода тёплая. Я это прочту и ничего из этого не узнаю.

— А что тебе надо?

— Мне надо, чтобы ты писал и про плохое, — говорит Лида. — Не для того, чтобы я переживала. Для того, чтобы я понимала, что ты мне действительно пишешь, а не отчитываешься.

— Например?

— Например: у Костенко опять плечо, а он молчит. Или: мы потеряли человека, и мне скверно. Или: я третью неделю не сплю. Вот это пиши.

— Ты уверена?

— Я фельдшер, — говорит она. — Я всю жизнь читаю плохие новости. От тебя я их прочту спокойнее, чем буду догадываться по бодрым.

Я киваю.

— Договорились.

— И последнее, — говорит она и вдруг улыбается, чего за ней сегодня не водилось. — Кружку мою отдал?

— Какую кружку?

Лида смотрит на меня поверх отложенной шинели.

— Иванов.

— Вернул, — говорю я. — Ещё в сорок первом. А потом ты сама разрешила забрать насовсем.

— Помню, — говорит она. — Просто хотела проверить, помнишь ли ты, откуда она. В дорогу взял?

— Взял.

Самолёты передают отдельной группе перегона; на промежуточной базе мы должны встретиться с ними. Эшелонам идут люди по наземному списку и мастерская.

Погрузку мы начинаем на рассвете, и к обеду становится ясно, что вагонов ровно на треть меньше, чем нам надо.

Это, в общем, нормальное состояние мира. Ненормально было бы, если бы их хватило.

Плешаков стоит у открытой двери товарного вагона с листом фанеры, на котором он мелом расчертил таблицу.

— Так, — говорит он мотористам. — Отдельного вагона на смену не будет. Ни у кого. Поэтому делаем вот как.

Он стучит по фанере.

— Каждой смене — обозначенный комплект. Комплект — это столько-то ящиков, столько-то мест, и на каждом ящике ваш номер краской. Один человек отвечает за комплект головой. Не «все вместе», а один, с фамилией.

— А если ящик потеряется?

— Тогда я спрошу с того, чья фамилия, — говорит Плешаков. — И он мне не скажет «я думал, Ковальчук взял».

Я иду вдоль состава с перечнем и сверяю.

Перечень длинный, и в нём есть строчки, от которых у меня портится настроение ещё до начала спора.

— Василий Фомич.

— Слушаю.

— Станок.

— А что станок?

— Станок — четыреста килограммов, — говорю я. — Он займёт у нас пол-площадки. На эту половину я могу взять пятнадцать ящиков или двух человек с постелями.

Плешаков молчит.

— И потом, — продолжаю я, — на новой базе мастерская должна быть.

— «Должна быть», — повторяет Плешаков. — Иванов, ты сам-то в это веришь?

— Не очень.

— Вот и я не очень.

— И всё-таки четыреста килограммов.

Мы стоим друг напротив друга, и я вижу, что он сейчас уступит, потому что я командир и потому что он устал спорить. И именно поэтому я говорю:

— Зови Селиванова.

Селиванов приходит, вытирая руки, и смотрит на нас с подозрением.

— Селиванов, — говорю я. — Убеди меня, что станок нужен. Не «удобно», а нужен. Я слушаю.

Он молчит секунды три, потом лезет в карман и достаёт оттуда шпильку.

Обычную шпильку, сантиметров восемь, с резьбой на обоих концах.

— Вот, — говорит он. — Знаете, что это?

— Знаю.

— Это крепление выхлопного коллектора. Их там восемь штук на мотор. Они горят и рвутся. За зиму я их сделал сорок две.

— Сам?

— Сам. Вот на этом станке. — Он кивает на брезент, под которым станок. — Беру пруток, точу, нарезаю резьбу, калю. Сорок минут одна штука.

— А если станка нет?

— Если станка нет, я пишу заявку, — говорит Селиванов. — Заявка идёт в БАО, из БАО на склад, со склада, если повезёт, через две недели приходит десяток. Если не повезёт — через месяц. А машина с оборванной шпилькой не летает, потому что там выхлоп в подкапотное пространство, и это пожар.

Он вертит шпильку в пальцах.

— Товарищ старший лейтенант, я вам скажу прямо. Мне ваш станок не для красоты. Мне на нём работать каждую неделю. Четыреста килограммов — это две недели простоя одной машины. Каждый месяц.

Я смотрю на шпильку.

Вот за это я и люблю разговаривать с людьми, которые работают руками. Они не спорят категориями. Они достают из кармана деталь.

— Едет, — говорю я.

— Едет? — не верит Селиванов.

— Едет. — Я делаю пометку в перечне. — Только тогда мы с вами сейчас найдём, что не едет вместо него.

Обратно со станции увозят уже приготовленные к погрузке тяжёлую тележку под агрегаты, запасной дубовый верстак и два короба бруса. Металлические принадлежности снимают и укладывают в свободные гнёзда. Дерево и тележку принимает смена Мельника. На освобождённое место ставят станок; стол, прибитый в прежней мастерской, мы в этот размен не считаем.

А вот что мы делаем отдельно и тщательно — это приборы и шаблоны.

Их укладывают не с тяжёлым, а сами по себе: четыре небольших ящика, обшитых внутри войлоком, с гнёздами. Микрометр, индикаторы, набор щупов, шаблоны на профиль лопасти, угольники, линейки. Каждый предмет в своём гнезде, каждый ящик с двумя ручками, чтобы нести вдвоём и быстро.

— Вот эти четыре, — говорит Плешаков мотористам, — идут не на платформу. Идут в теплушку, к людям. Они поедут с нами, под нарами.

— Тесно будет.

— Будет тесно, — соглашается Плешаков. — Зато если платформу отцепят на какой-нибудь узловой или по ней попадут, у нас останется то, чем меряют. Станок я через год себе сделаю из чего угодно. Микрометр я себе из рельса не выточу.

Последний ящик закрывают в четвёртом часу, и закрывают его на столе.

Стол — тот самый, длинный, в бывшей столовой, где вчера ещё пили чай и где в марте Черных спрашивал про лёд. Сейчас на нём стоит одинокий ящик, вокруг лежат стружка, обрывки бумаги и гвозди, а чайник унесли.

Плешаков забивает последний гвоздь, выпрямляется и кладёт ладонь на крышку.

— Всё, — говорит он.

Помолчав, добавляет:

— Хороший был стол.

— Он остаётся, — говорю я.

— Он остаётся, — соглашается Плешаков. — А мы нет.

Эшелон идёт медленно, и это правильно: медленно — значит, идёт.

На третьи сутки, ближе к вечеру, ко мне в теплушку заглядывает Дейнека — он едет с нами до узловой — и говорит:

— Иванов. Завтра в двенадцать сорок — станция. Стоим два часа, меняем паровоз и берём воду.

— Понял.

— Вам, кажется, туда и надо.

Я смотрю на него.

— Я у вас в бумагах ничего не читал, — говорит Дейнека спокойно. — Мне начальник эшелона сказал, что вы третий день интересуетесь расписанием. Я подумал и сложил.

— И что?

— И то, что разрешённый час отсутствия вы получите, — говорит он. — Не два. Час. И с условием: вернётесь на пятнадцать минут раньше отправления.

— Почему на пятнадцать?

— Потому что если вы придёте минута в минуту и эшелон в это время дёрнут на другой путь, я вас буду ловить по всей станции, — говорит Дейнека. — А у меня нет на это времени.

Я иду к Зорину.

— На два часа остаёшься за меня, — говорю я. — Люди, ящики, вода, кипятки. Если состав переставят — следишь, чтобы никто не отстал от вагона. Особенно Костенко: он побежит за кипятком и потеряется.

— Куда вы?

— По личному делу.

Зорин смотрит на меня так, как смотрят двадцатипятилетние, которые всё уже поняли.

— Понял, — говорит он. — Идите спокойно.

Потом я полчаса выясняю у проводника, кондуктора и составителя, как выглядит обратная дорога, потому что «рядом со станцией» и «через пути, под вагонами, мимо водокачки, потом направо» — это два разных маршрута, и второй из них настоящий.

Ночью я лежу на нарах и пытаюсь спать.

Спать не получается, и я, чтобы себя занять, считаю, сколько у нас за три дня было остановок и сколько из них были предсказаны расписанием. Выходит: одиннадцать и три.

Потом я думаю про то, что завтра увижу человека, которого видел только на фотографии.

Она отвечает мне с декабря. Первое моё письмо вернулось, второе нашло её в конце ноября. С тех пор набралось несколько её писем и моих ответов, и я их знаю почти наизусть, потому что перечитываю в дороге. Я знаю, что она работает в эвакогоспитале, что у неё тяжёлое отделение, что мать умерла в сентябре и что Витя ушёл на фронт с последним набором и от него пока ничего.

Я знаю про неё сегодняшнюю довольно много.

И я по-прежнему не помню про неё ничего из того, что помнит она.

Станция встречает нас грязью, гудками и запахом угля.

Поезд стоит с двенадцати сорока до четырнадцати сорока. Мне отпущен час: с тринадцати десяти до четырнадцати десяти. Первые полчаса уходят на передачу людей Зорину и умывание; теперь я могу идти.

Умываюсь я у бочки с водой за водокачкой, вместе с кочегаром, и кочегар, глядя, как я тру ладони песком, говорит:

— На свидание, что ли?

— Вроде того.

— Тогда вот, — говорит он и даёт мне кусок мыла размером с грецкий орех. — Только верни, оно казённое.

Госпиталь — двухэтажное школьное здание в четырёх кварталах от станции, с фанерой вместо половины стёкол и с длинным навесом у входа, под которым стоят пустые носилки.

Во дворе развешаны бинты — целыми рядами, как бельё, — и между ними ходит сестра с корзиной.

— Мне бы Соколову, — говорю я. — Марию.

Сестра смотрит на меня без всякого интереса.

— На смене.

— Я знаю. Я подожду.

Глава 6



— Ждать до трёх, — говорит она и идёт дальше.

Я смотрю на часы. Сейчас тринадцать двадцать.

Вот и всё, собственно.

У меня есть два варианта. Первый: войти, найти старшую, сказать, кто я такой, сказать, что эшелон, что фронт, что час, — и её позовут. Я знаю, что позовут, потому что лётчику в апреле сорок второго не отказывают в таких вещах.

Второй: стоять и ждать.

Я стою у стены и жду.

Это, между прочим, не благородство. Это простой расчёт: если я сейчас выгашу её со смены, то первое, что она про меня узнает, — это что ради меня отрывают человека от работы. В госпитале тяжёлое отделение. В тяжёлом отделении «отойди на пять минут» означает, что пять минут кто-то другой делает твоё и своё.

Я стою у стены и разглядываю двор.

Двор как двор: поленница, колодец, бочка, куча угля. У дальней стены стоит гипсовая фигура — из тех, что до войны ставили в каждом школьном дворе, — и на ней сушатся бинты, намотанные на вытянутую руку.

Через двадцать минут выходит покурить санитар и спрашивает, кого я жду.

— Соколову.

— А, — говорит он. — Это которая с третьего поста? Родственник?

— Знакомый.

— Ну стой, — говорит он. — Она сегодня с семи.

Я стою ещё две минуты; уже собираюсь оставить записку и идти, когда дверь открывается.

Выходит она — санитар всё-таки сказал ей, кто ждёт во дворе.

Я узнаю её сразу — и одновременно не узнаю совсем, потому что старый снимок хранит девушку в светлом платье у забора, мартовский — женщину в чужом пальто у заснеженного крыльца, а сейчас по ступенькам спускается Мария в сером халате, с закатанными рукавами, с мокрым пятном на груди и с очень коротко, почти под мальчика, остриженными волосами и клеёнчатой сумкой в опущенной руке.

Она останавливается на нижней ступеньке и смотрит на меня.

— Пришёл, — говорит она.

— Пришёл.

И тут она улыбается — устало, но по-настоящему, — и говорит:

— Здравствуй, Пашка-керосин.

И вот здесь всё ломается.

Потому что она сказала это так, как говорят пароль, и она ждёт ответа — не какого-то конкретного, а просто ответа: смеха, смущения, чего угодно из того, что делал тот человек.

А я стою и не знаю, что это значит.

Секунда, две. Я вижу, как у неё меняется лицо: сначала недоумение, потом попытка объяснить это себе, потом что-то похожее на испуг.

Я мог бы сейчас засмеяться. Это было бы совсем несложно.

— Не помню, — говорю я. — Прости. Почему керосин?

Она молчит.

— Ты правда не помнишь, — говорит она наконец. Не спрашивает, а произносит вслух, как проверяют, держит ли лёд.

— Правда.

— Ты писал. Я читала. Я думала... — Она поправляет рукав. — Я думала, что я понимаю, что это значит, а оказывается, не понимала.

— Так почему керосин?

— Потому что ты приходил на танцы прямо с аэродрома, — говорит она. — Тебя за три метра было слышно. Тебе говорили — иди мойся, а ты отвечал, что это лучшие духи в районе.

Я слушаю, и это похоже на то, как слушаешь про чужого человека, о котором говорят хорошее.

— Похоже на правду, — говорю я.

— На какую правду? — тихо спрашивает она.

— На то, как поступают в двадцать лет.

Мы молчим.

— Пойдём сядем, — говорит она. — У меня двадцать минут, потом надо обратно, я сказала, что буду во дворе.

Она задерживается возле скамейки.

— И ещё, Паша. Теперь можешь звать Марусей. Если хочешь.

— Хочу.

— Только без попыток угадать, как раньше. Просто Марусей.

Скамейка стоит у стены под окнами, и от неё до двери шагов десять — как раз чтобы её могли позвать.

Она садится, ставит между нами сумку — обычную клеёнчатую сумку с чем-то тяжёлым внутри — и кладёт на неё руки.

— Ну, — говорит она. — Рассказывай.

— Сначала ты, — говорю я. — Как сегодня смена?

— Что?

— Смена, — говорю я. — Сегодняшняя. Как?

Она смотрит на меня так, будто я спросил что-то неприличное.

— Тебе это зачем?

— Затем, что я про тебя знаю из писем, а письма ты пишешь вечером, когда уже всё кончилось. А я хочу знать, что было сегодня.

Она пожимает плечами.

— Плохо было, — говорит она. — С утра привезли партию, шестьдесят человек, из них двадцать носилочных. Мы их не ждали, нам сказали про сорок. Перевязочная одна, мест нет. Я до одиннадцати не садилась.

— Кто-нибудь умер?

— Двое, — говорит она. — Один сразу, ещё в коридоре. Второй в девять.

— Ты с ним была?

— Я с ним была, — говорит она и вдруг замолкает.

Я не тороплю.

— Он просил пить, — говорит она через минуту. — А ему нельзя, у него живот. И я ему смачивала губы. И он на меня всё время смотрел и говорил: сестричка, ну хоть глоток. — Она смотрит перед собой. — Я четыре месяца работаю, я уже привыкла, а сегодня почему-то нет.

— Потому что ты знала, что я приеду.

Она поворачивает голову.

— При чём тут ты?

— При том, что когда ждёшь чего-то хорошего, всё плохое становится острее, — говорю я. — Оно перестаёт быть просто работой.

Она долго смотрит на меня.

Потом берёт сумку, которая лежит между нами, и переставляет её на землю.

— Ты стал по-другому разговаривать, — говорит она.

— Знаю.

— Не знаешь, — говорит она. — Ты не можешь знать, ты не помнишь, как было раньше.

— Тут ты права.

— Раньше ты говорил быстро, — говорит Мария. — Всё время шутил. И если я начинала про грустное, ты сразу переводил, потому что не любил. А сейчас сидишь и спрашиваешь, кто умер.

— Это плохо?

Она думает.

— Это странно, — говорит она. — Я не знаю пока, плохо это или нет.

Первые десять минут проходят очень быстро.

Я успеваю рассказать про эшелон, про Плешакова и станок, про Костенко в рубахе не по росту. Она успевает засмеяться два раза, и оба раза коротко, как смеются люди, отвыкшие.

А потом я говорю то, за чем, собственно, и ехал.

— Маруся, я должен сказать одну вещь, и я хочу сказать её при тебе, а не в письме.

— Говори.

— Твоё письмо, то, первое, — говорю я. — Я его впервые прочёл осенью. Без него я бы тебя не нашёл: там был твой адрес и там были курсы. Я по этим двум строчкам тебя и искал. Спасибо.

— Пожалуйста, — говорит она настороженно.

— И второе. — Я смотрю на свои руки. — Я не могу вернуть то, что ты помнишь. Я пробовал. Я честно сидел и пробовал вспомнить, и там ничего нет. Пустое место. И, судя по всему, оно таким и останется.

— Ты это уже писал.

— Писал. Но в письме это выглядит как медицинская справка, а на самом деле это значит вот что. — Я поворачиваюсь к ней. — Ты ждала человека, который тебя помнит. А приехал человек, который тебя не помнит. Ты про прежнего меня знаешь пять лет, а я про тебя нынешнюю — из писем, с декабря. Это очень неравный обмен, Маруся. Ты отдаёшь больше.

— И?

— И я не хочу, чтобы ты за это платила, — говорю я. — Ты молодая, война длинная, тебе...

Вот тут она меня и перебивает.

— Пстой, — говорит она. — Пстой-ка.

Голос у неё меняется.

— Ты сейчас за меня решаешь?

— Я...

— Ты сидишь и объясняешь мне, что мне достанется слишком мало, — говорит Мария, и у неё краснеют скулы. — Ты уже посчитал, да? Ты посчитал, сколько я отдам и сколько получу, и решил, что мне невыгодно.

— Я не так сказал.

— Ты именно так сказал! — Она поворачивается ко мне всем корпусом. — Знаешь, кого так сортируют? Раненых. Вот этот выживет, этому в первую очередь, а этому не надо, он всё равно не дотянет. Я этим занимаюсь каждый день, Павел. И я тебе точно говорю: это делают за человека только тогда, когда он без сознания.

Я молчу.

— Я в сознании, — говорит она.

— Прости.

— Прощу, если дослушаешь. — Она переводит дыхание. — Я не дура и не девочка с бантиком. Я прекрасно понимаю, что тот Пашка, которого я знала, где-то остался. Я это поняла ещё зимой, с одного из твоих первых ответов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.